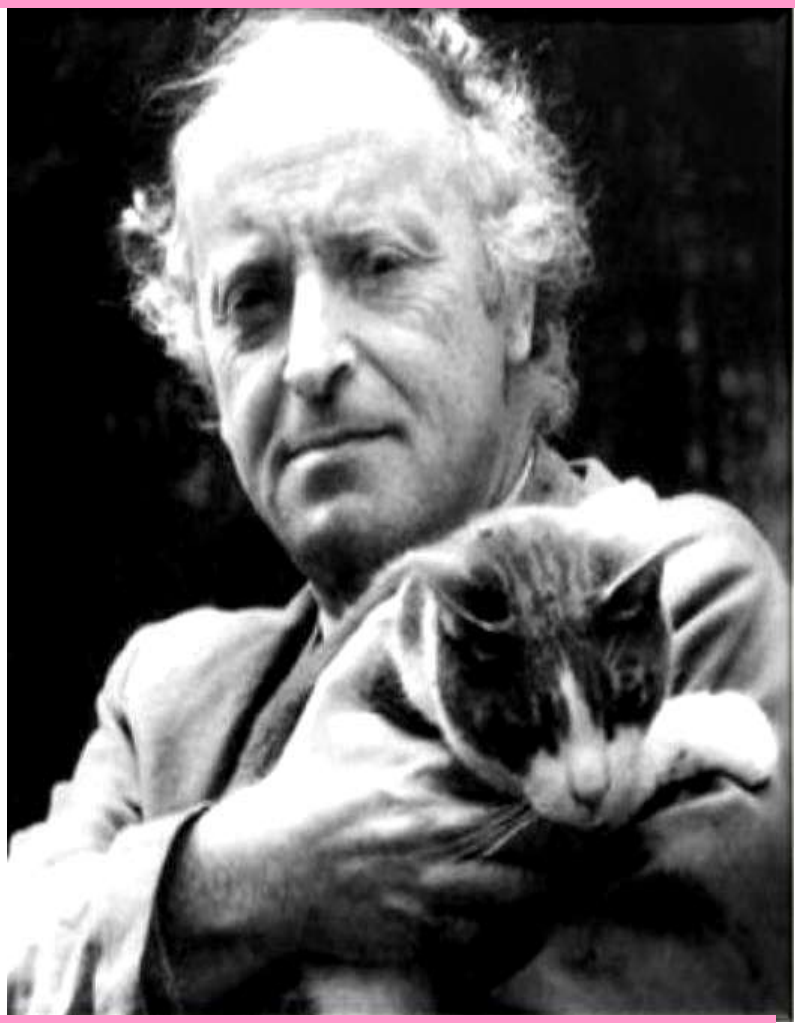
ЗАБЫТЫЕ ИМЕНА

Часть 7. СТИХИ.

ИОСИФ БРОДСКИЙ

Составитель МУЧНИК ЭТЯ БОРИСОВНА



Бродский Иосиф Александрович (1940 - 1996)
Поэт, переводчик, критик, эссеист, драматург
Первые поэтические опыты И. Бродского относятся к 1957 г. В начале 60-х годов начинает работать как поэт-переводчик. Стихи появились в самиздатовском журнале "Синтаксис" (1959-1960 гг.).
12 февраля 1964 г. арестован и осужден Дзержинским районным судом Ленинграда по обвинению в тунеядстве, приговорен к пятилетней ссылке в Архангельской обл.
Летом 1972 года Бродский был вынужден эмигрировать в США. Преподавал в университетах. В 1980 г. получил американское гражданство.
В 1987 г. был удостоен Нобелевской премии по литературе. В 1992 г. стал Поэтом-Лауреатом США. В творчестве Бродский касается важнейших проблем человеческого бытия. Он вненационален и аполитичен.

БАБОЧКА

I

Сказать, что ты мертва?
Но ты жила лишь сутки.
Как много грусти в шутке
Творца! едва
могу произнести
"жила" - единство даты
рожденья и когда ты
в моей горсти
рассыпалась, меня
смущает вычесть
одно из двух количеств
в пределах дня.

II

Затем, что дни для нас -
ничто. Всего лишь
ничто. Их не приколешь,
и пищей глаз
не сделаешь: они
на фоне белом,
не обладая телом,
незримы. Дни,
они как ты; верней,
что может весить
уменьшенный раз в десять
один из дней?

III

Сказать, что вовсе нет
тебя? Но что же
в руке моей так схоже
с тобой? и цвет -
не плод небытия.
По чьей подсказке
и так кладутся краски?
Навряд ли я,
бормочущий комок
слов, чуждых цвету,

вообразить бы эту
палитру смог.

IV

На крылышках твоих
зрачки, ресницы -
красавицы ли, птицы -
обрывки чьих,
скажи мне, это лиц,
портрет летучий?
Каких, скажи, твой случай
частиц, крупиц
являет натюрморт:
вещей, плодов ли?
и даже рыбной ловли
трофей простерт.

V

Возможно, ты - пейзаж,
и, взявши лупу,
я обнаружу группу
нимф, пляску, пляж.
Светло ли там, как днем?
иль там уныло,
как ночью? и светило
какое в нем
взошло на небосклон?
чьи в нем фигуры?
Скажи, с какой натуры
был сделан он?

VI

Я думаю, что ты -
и то, и это:
звезды, лица, предмета
в тебе черты.
Кто был тот ювелир,
что, бровь не хмуря,
нанес в миниатюре
на них тот мир,
что сводит нас с ума,
берет нас в клещи,

где ты, как мысль о вещи,
мы - вещь сама.

VII

Скажи, зачем узор
такой был даден
тебе всего лишь на день
в краю озер,
чья амальгама впрок
хранит пространство?
А ты лишаешь шанса
столь краткий срок
попасть в сачок,
затрепетать в ладони,
в момент погони
пленить зрачок.

VIII

Ты не ответишь мне
не по причине
застенчивости и не
со зла, и не
затем, что ты мертва.
Жива, мертва ли -
но каждой божьей твари
как знак родства
дарован голос для
общенья, пенья:
продления мгновенья,
минуты, дня.

IX

А ты - ты лишена
сего залога.
Но, рассуждая строго,
так лучше: на
кой ляд быть у небес
в долгу, в реестре.
Не сокрушайся ж, если
твой век, твой вес
достойны немоты:
звук - тоже бремя.

Бесплотнее, чем время,
беззвучней ты.

X

Не ощущая, не
дожив до страха,
ты вьешься легче праха
над клумбой, вне
похожих на тюрьму
с ее удушьем
минувшего с грядущим,
и потому
когда летишь на луг
желая корму,
приобретает форму
сам воздух вдруг.

XI

Так делает перо,
скользя по глади
расчерченной тетради,
не зная про
судьбу своей строки,
где мудрость, ересь
смешались, но доверясь
толчкам руки,
в чьих пальцах бьется речь
вполне немая,
не пыль с цветка снимая,
но тяжесть с плеч.

XII

Такая красота
и срок столь краткий,
соединясь, догадкой
кривят уста:
не высказать ясней,
что в самом деле
мир создан был без цели,
а если с ней,
то цель - не мы.
Друг-энтомолог,

для света нет иголок
и нет для тьмы.

XIII

Сказать тебе "Прощай"?
как форме суток?
есть люди, чей рассудок
стрижет лишай
забвенья; но взгляни:
тому виною
лишь то, что за спиною
у них не дни
с постелью на двоих,
не сны дремучи,
не прошлое - но тучи
сестер твоих!

XIV

Ты лучше, чем Ничто.
Верней: ты ближе
и зримее. Внутри же
на все сто
ты родственна ему.
В твоем полете
оно достигло плоти;
и потому
ты в сутолоке дневной
достойна взгляда
как легкая преграда
меж ним и мной.

В ГОРЧИЧНОМ ЛЕСУ

Гулко дятел стучит по пустым
деревам, не стремясь достучаться.
Дождь и снег, пробивающий дым,
заплетаясь, шумят средь участка.
Кто-то, вниз опустивши лицо,
от калитки, все пуще и злее
от желанья взбежать на крыльцо,
семенит по размякшей аллее.

Ключ вползает, как нитка в ушко.
Дом молчит, но нажатие пальца,
от себя уводя далеко,
прижимает к нему постояльца.
И смолкает усилье в руке,
ставши тем, что из мозга не вычесть,
в этом кольцеобразном стежке
над замочного скважиной высясь.

Дом заполнен безумьем, чья нить
из того безопасного рода,
что позволит и печь затопить,
и постель застелить до прихода --
нежеланных гостей, и на крюк
дверь закрыть, привалить к ней поленья,
хоть и зная: не ходит вокруг,
но давно уж внутри - исступленье.

Все растет изнутри, в тишине,
прерываемой изредка печью.
Расползается страх по спине,
проникая на грудь по предплечью;
и на горле смыкая кольцо,
возрастая до внятности гула,
пеленой защищает лицо
от сочувствия лампы и стула.

Там, за "шторой", должно быть, сквозь сон,
сосны мечутся с треском и воем,
исхитряясь попасть в унисон
придыханью своим разнобоем.
Все сгибается, бьется, кричит;
но меж ними достаточно внятно
- в этих "ребрах" - их сердце стучит,

черно-красное в образе дятла.
Это всё - эта пища уму:
"дятел бьется и ребра не гнутся",
перифраза из них - никому
не мешало совсем задохнуться.
Дом бы должен, как хлеб на дрожжах,
вверх расти, заостряя обитель,
повторяя во всех этажах,
что безумие - лучший строитель.

Продержись - все притихнет и так.
Двадцать сосен на месте кошмара.
Из земли вырастает - чердак,
уменьшается втрое опара.
Так что вдруг от виденья куста
из окна - темных мыслей круженье,
словно мяч от "сухого листа",
изменяет внезапно движенье.

Колка дров, подметанье полов,
топка печи, стекла вытиранье,
выметанье бумаг из углов,
разрешенная стирка, старанье.
Разрешенная топка печей
и приборка постели и сора
- переносишь на время ночей,
если долго живешь без надзора.

Заостря-заостряется дом.
Ставни заперты, что в них стучаться.
Дверь на ключ - предваряя содом:
в предвкушеньи березы участка, --
обнажаясь быстрей, чем велит
время года, зовя на подмогу
каждый куст, что от взора сокрыт, --
подступают все ближе к порогу.

Колка дров, подметанье полов,
нахожденье того, что оставил
на столах, повторенье без слов,
запиранье повторное ставень.
Чистка печи от пепла... зола...
Оттиранье кастрюль, чтоб блестели

Возвращенье размеров стола.
Топка печи, заправка постели.

В деревне Бог живет не по углам

В деревне Бог живет не по углам,
как думают насмешники, а всюду.
Он освящает кровлю и посуду
и честно двери делит пополам.
В деревне Он - в избытке. В чугуне
Он варит по субботам чечевицу,

приплясывает сонно на огне,
подмигивает мне, как очевидцу.
Он изгороди ставит. Выдает
девицу за лесничего. И в шутку
устраивает вечный недолет
объездчику, стреляющему в утку.
Возможность же все это наблюдать,
к осеннему прислушиваясь свисту,
единственная, в общем, благодать,
доступная в деревне атеисту

В ОЗЕРНОМ КРАЮ

В те времена, в стране зубных врачей,
чьи дочери выписывают вещи
из Лондона, чьи стиснутые клещи
вздымают вверх на знамени ничей
Зуб Мудрости, я, прячущий во рту,
развалины почище Парфенона,
шпион, лазутчик, пятая колонна
гнилой цивилизации - в быту
профессор красноречия,- я жил
в колледже возле главного из Пресных
Озер, куда из водорослей местных
был призван для вытягиванья жил.

Все то, что я писал в те времена,
сводилось неизбежно к многоточью.
Я падал, не расстегиваясь, на
постель свою. И ежели я ночью
отыскивал звезду на потолке,
она, согласно правилам сгоранья,
сбегала на подушку по щеке
быстрей, чем я загадывал желанье.

Иосиф Бродский стихи

Волосы за висок
между пальцев бегут,
как волны, наискосок,
и не видно губ,
оставшихся на берегу,
лица, сомкнутых глаз,
замерших на бегу

против теченья. Раз-

розненный мир черт
нечем соединить.
Ночь напролет след,
путеводную нить
ищут язык, взор,
подобно борзой,
упираясь в простор,
рассеченный слезой.

Вверх по теченью, вниз -
я. Сомкнутых век
не раскрыв, обернись:
там, по теченью вверх,
что (не труди глаза)
там у твоей реки?
Не то же ли там, что за
устьем моей руки?

Мир пятерни. Срез
ночи. И мир ресниц.
Тот и другой без
обозримых границ.
И наши с тобой слова,
помыслы и дела
бесконечны, как два
ангельские крыла.

Второе Рождество на берегу

Вполголоса - конечно, не во весь -
прощаюсь навсегда с твоим порогом.
Не шелохнется град, не встрепенется весь
от голоса приглушенного.
С Богом!
По лестнице, на улицу, во тьму...
Перед тобой - окраины в дыму,
простор болот, вечерняя прохлада.
Я не преграда взору твоему,
словам твоим печальным - не преграда.
И что он - отсюда не видать.
Пучки травы... и лиственниц убранство...

Тебе не в радость, мне не в благодать
безлюдное, доступное пространство.

Второе Рождество на берегу

Второе Рождество на берегу
незамерзающего Понта.
Звезда Царей над изгородью порта.
И не могу сказать, что не могу
жить без тебя - поскольку я живу.
Как видно из бумаги. Существую;
глотаю пиво, пачкаю листву и
топчу траву.

Теперь в кофейне, из которой мы,
как и пристало временно счастливым,
беззвучным были выброшены взрывом
в грядущее, под натиском зимы
бежав на Юг, я пальцами черчу
твое лицо на мраморе для бедных;
поодаль нимфы прыгают, на бедрах
задрав парчу.

Что, боги, - если бурое пятно
в окне символизирует вас, боги, -
стремились вы нам высказать в итоге?
Грядущее настало, и оно
переносимо; падает предмет,
скрипач выходит, музыка не длится,
и море все морщинистей, и лица.
А ветра нет.

Когда-нибудь оно, а не - увы -
мы, захлестнет решетку променада
и двинется под возгласы "не надо",
вздымая гребни выше головы,
туда, где ты пила свое вино,
спала в саду, просушивала блузку,
- круша столы, грядущему моллюску
готовя дно.

Закричат и захлопочут петухи

Закричат и захлопочут петухи,
загрохочут по проспекту сапоги,

засверкает лошадиный изумруд,
в одночасье современники умрут.

Запоет над переулком флажолет,
захохочет над каналом пистолет,
загремит на подоконнике стекло,
станет в комнате особенно светло.

И помчатся, задевая за кусты,
невидимые солдаты духоты
вдоль подстриженных по-новому аллей,
словно тени яйцевидных кораблей.

Так начнется двадцать первый, золотой,
на тропинке, красным солнцем залитой,
на вопросы и проклятия в ответ,
обволакивая паром этот свет.

Но на Марсовое поле дотемна
Вы придете одинешенька-одна,
в синем платье, как бывало уж не раз,
но навечно без поклонников, без нас.

Только трубочка бумажная в руке,
лишь такси за Вами едет вдалеке,
рядом плещется блестящая вода,
до асфальта провисают провода.

Вы поднимете прекрасное лицо -
громкий смех, как поминальное словцо,
звук неясный на нагревшемся мосту -
на мгновенье взбудоражит пустоту.

Я не видел, не увижу Ваших слез,
не услышу я шуршания колес,
уносящих Вас к заливу, к деревам,
по отечеству без памятника Вам.

В теплой комнате, как помнится, без книг,
без поклонников, но также не для них,
опирая на ладонь свою висок,
Вы напишите о нас наискосок.

Вы промолвите тогда: "О, мой Господь!
этот воздух запустевший - только плоть

дум, оставивших признание свое,
а не новое творение Твое!"

ЗИМНИМ ВЕЧЕРОМ В ЯЛТЕ

Сухое левантинское лицо,
упрятанное оспинками в бачки,
когда он ищет сигарету в пачке,
на безымянном тусклое кольцо
внезапно преломляет двести ватт,
и мой хрусталик вспышки не выносит;
я жмурюсь - и тогда он произносит,
глотая дым при этом, "виноват".

Январь в Крыму. На черноморский брег
зима приходит как бы для забавы:
не в состояньи удержаться снег
на лезвиях и остриях атавы.
Пустуют ресторации. Дымят
ихтиозавры грязные на рейде,
и прелых лавров слышен аромат.
"Налить вам этой мерзости?" "Налейте".

Итак - улыбка, сумерки, графин.
Вдали буфетчик, стискивая руки,
дает круги, как молодой дельфин
вокруг хамсой заполненной фелюги.
Квадрат окна. В горшках - желтофиоль.
Снежинки, проносящиеся мимо...
Остановись, мгновенье! Ты не столь
прекрасно, сколько ты неповторимо.

1

Когда подойдет к изголовью
смотритель приспущенных век,
я вспомню запачканный кровью,
укатанный лыжами снег,
платформу в снегу под часами,
вагоны - зеленым пятном
и длинные финские сани
в сугробах под Вашим окном,

заборы, кустарники, стены
и оспинки гипсовых ваз,
и сосны - для Вас уже тени,
недолго деревья для нас.

2 (явление стиха)

Не жаждал являться до срока,
он медленно шел по земле,
он просто пришел издалека
и молча лежит на столе.
Потом он звучит безучастно
и тает потом в лесу.

И вот, как тропинка с участка,
выводит меня в темноту.

Коньяк в графине

Коньяк в графине - цвета янтаря,
что, в общем, для Литвы симптоматично.
Коньяк вас превращает в бунтаря.
Что не практично. Да, но романтично.
Он сильно обрубает якоря
всему, что неподвижно и статично.

Конец сезона. Столики вверх дном.
Ликуют белки, шишками насытясь.
Храпит в буфете русский агроном,
как свыкшийся с распутицею витязь.
Фонтан журчит, и где-то за окном
милуются Юрате и Каститис.

Пустые пляжи чайками живут.
На солнце сохнут пестрые кабины.
За дюнами транзисторы ревут
и кашляют курляндские камины.
Каштаны в лужах сморщенных плывут
почти как гальванические мины.

К чему вся метрополия глуха,
то в дюжине провинций переняли.
Поет апостол рачьего стиха
в своем невразумительном журнале.

И слепок первородного греха
свой образ тиражирует в канале.

Страна, эпоха - плюнь и разотри!
На волнах пляшет пограничный катер.
Когда часы показывают "три",
слышны, хоть заплыви за дебаркадер,
колокола костела. А внутри
на муки Сына смотрит Богоматерь.

И если жить той жизнью, где пути
действительно расходятся, где фланги,
бесстыдно обнажаясь до кости,
заводят разговор о бумеранге,
то в мире места лучше не найти
осенней, всеми брошенной Паланги.

Ни русских, ни евреев. Через весь
огромный пляж двухлетний археолог,
ушедший в свою собственную спесь,
бредет, зажав фаянсовый осколок.
И если сердце разорвется здесь,
то по-литовски писанный некролог

не превзойдет наклейки с коробка,
где брякают оставшиеся спички.
И солнце, наподобье колобка,
зайдет, на удивление синичке
на миг за кучевые облака
для траура, а может, по привычке.

Лишь море будет рокотать, скорбя
безлично - как бывает у артистов.
Паланга будет, кашляя, сопя,
прислушиваться к ветру, что неистов,
и молча пропускать через себя
республиканских велосипедистов.

Конец прекрасной эпохи

Потому что искусство поэзии требует слов,
я - один из глухих, облысевших, угрюмых послов
второсортной державы, связавшейся с этой, -
не желая насиловать собственный мозг,

сам себе подавая одежду, спускаюсь в киоск
за вечерней газетой.

Ветер гонит листву. Старых лампочек тусклый накал
в этих грустных краях, чей эпиграф - победа зеркал,
при содействии луж порождает эффект изобилья.
Даже воры крадут апельсин, амальгаму скребя.
Впрочем, чувство, с которым глядишь на себя, -
это чувство забыл я.

В этих грустных краях все рассчитано на зиму: сны,
стены тюрем, пальто; туалеты невест - белизны
новогодней, напитки, секундные стрелки.
Воробьиные кофты и грязь по числу щелочей;
пуританские нравы. Белье. И в руках скрипачей -
деревянные грелки.

Этот край недвижим. Представляя объем валовой
чугуна и свинца, обалделой тряхнешь головой,
вспомнишь прежнюю власть на штыках и казачьих нагайках.
Но садятся орлы, как магнит, на железную смесь.
Даже стулья плетеные держатся здесь
на болтах и на гайках.

Только рыбы в морях знают цену свободе; но их
немота вынуждает нас как бы к созданью своих
этикеток и касс. И пространство торчит прейскурантом.
Время создано смертью. Нуждаясь в телах и вещах,
свойства тех и других оно ищет в сырых овощах.
Кочет внемлет курантам.

Жить в эпоху свершений, имея возвышенный нрав,
к сожалению, трудно. Красавице платье задрав,
видишь то, что искал, а не новые дивные дивы.
И не то чтобы здесь Лобачевского твердо блюдут,
но раздвинутый мир должен где-то сужаться, и тут -
тут конец перспективы.

То ли карту Европы украли агенты властей,
то ль пятерка шестых остающихся в мире частей
чересчур далека. То ли некая добрая фея
надо мной ворожит, но отсюда бежать не могу.
Сам себе наливаю кагор - не кричать же слугу -
да чешу котофея...

То ли пулю в висок, словно в место ошибки перстом,

то ли дернуть отсюдова по морю новым Христом.
Да и как не смешать с пьяных глаз, обалдев от мороза,
паровоз с кораблем - все равно не сгоришь от стыда:
как и челн на воде, не оставит на рельсах следа
колесо паровоза.

Что же пишут в газетах в разделе "Из зала суда"?
Приговор приведен в исполненье. Взглянувши сюда,
обыватель узрит сквозь очки в оловянной оправе,
как лежит человек вниз лицом у кирпичной стены;
но не спит. Ибо брезговать кумполом сны
продырявленным вправе.

Зоркость этой эпохи корнями вплетается в те
времена, неспособные в общей своей слепоте
отличать выпадавших из люлек от выпавших люлек.
Белоглазая чудь дальше смерти не хочет взглянуть.
Жалко, блюдец полно, только не с кем стола вертануть,
чтоб спросить с тебя, Рюрик.

Зоркость этих времен - это зоркость к вещам тупика.
Не по древу умом растекаться пристало пока,
но плевком по стене. И не князя будить - динозавра.
Для последней строки, эх, не вырвать у птицы пера.
Неповинной главе всех и дел-то, что ждать топора
да зеленого лавра.

ЛЮБОВЬ

Я дважды пробуждался этой ночью
и брел к окну, и фонари в окне,
обрывок фразы, сказанной во сне,
сводя на нет, подобно многоточью,
не приносили утешенья мне.

Ты снилась мне беременной, и вот,
проживши столько лет с тобой в разлуке,
я чувствовал вину свою, и руки,
ощупывая с радостью живот,
на практике нашаривали брюки
и выключатель. И бредя к окну,
я знал, что оставлял тебя одну
там, в темноте, во сне, где терпеливо
ждала ты, и не ставила в вину,
когда я возвращался, перерыва

умышленного. Ибо в темноте —
там длится то, что сорвалось при свете.
Мы там женаты, венчаны, мы те
двуспинные чудовища, и дети
лишь оправданье нашей наготе.
В какую-нибудь будущую ночь
ты вновь придешь усталая, худая,
и я увижу сына или дочь,
еще никак не названных,— тогда я
не дернусь к выключателю и прочь
руки не протяну уже, не вправе
оставить вас в том царствии теней,
безмолвных, перед изгородью дней,
впадающих в зависимость от яви,
с моей недосягаемостью в ней.

Меня упрекали во всем

Меня упрекали во всем, окромя погоды,
и сам я грозил себе часто суровой мздой.
Но скоро, как говорят, я сниму погоны
и стану просто одной звездой.

Я буду мерцать в проводах лейтенантом неба
и прятаться в облако, слыша гром,
не видя, как войско под натиском ширпотреба
бежит, преследуемо пером.

Когда вокруг больше нету того, что было,
не важно, берут вас в кольцо или это - блиц.
Так школьник, увидев однажды во сне чернила,
готов к умноженью лучше иных таблиц.

И если за скорость света не ждешь спасибо,
то общего, может, небытия броня
ценит попытки ее превращенья в сито
и за отверстие поблагодарит меня.;

НА СТОЛЕТИЕ АННЫ АХМАТОВОЙ

Страницу и огонь, зерно и жернова,
секиры острие и усеченный волос -
Бог сохраняет все; особенно - слова

прощенья и любви, как собственный свой голос.

В них бьется рваный пульс, в них слышен костный хруст,
и заступ в них стучит; ровны и глуховаты,
затем что жизнь - одна, они из смертных уст
звучат отчетливей, чем из надмирной ваты.

Великая душа, поклон через моря
за то, что их нашла, - тебе и части тленной,
что спит в родной земле, тебе благодаря
обретшей речи дар в глухонемой вселенной.

НА СМЕРТЬ ДРУГА

Имяреку, тебе, - потому что не станет за труд
из-под камня тебя раздобыть, - от меня, анонима,
как по тем же делам: потому что и с камня сотрут,
так и в силу того, что я сверху и, камня помимо,
чересчур далеко, чтоб тебе различать голоса -
на эзоповой фене в отечестве белых головок,
где наощупь и слух наколол ты свои полюса
в мокром космосе злых корольков и визгливых сиповок;
имяреку, тебе, сыну вдовой кондукторши от
то ли Духа Святого, то ль поднятой пыли дворовой,
похитителю книг, сочинителю лучшей из од
на паденье А. С. в кружева и к ногам Гончаровой,
слововержцу, лжецу, пожирателю мелкой слезы,
обожателю Энгра, трамвайных звонков, асфоделей,
белозубой змее в колоннаде жандармской кирзы,
одинокому сердцу и телу бессчетных постелей -
да лежится тебе, как в большом оренбургском платке,
в нашей бурой земле, местных труб проходимцу и дыма,
понимавшему жизнь, как пчела на горячем цветке,
и замерзшему насмерть в параднике Третьего Рима.
Может, лучшей и нету на свете калитки в Ничто.
Человек мостовой, ты сказал бы, что лучшей не надо,
вниз по темной реке уплывая в бесцветном пальто,
чьи застежки одни и спасали тебя от распада.
Тщетно драхму во рту твоем ищет угрюмый Харон,
тщетно некто трубит наверху в свою дудку протяжно.
Посылаю тебе безымянный прощальный поклон
с берегов неизвестно каких. Да тебе и неважно.

НА СМЕРТЬ ЖУКОВА

Вижу колонны замерших звуков,
гроб на лафете, лошади круп.
Ветер сюда не доносит мне звуков
русских военных плачущих труб.
Вижу в регалиях убранный труп:
в смерть уезжает пламенный Жуков.

Воин, пред коим многие пали
стены, хоть меч был вражьих тупей,
блеском маневра о Ганнибале
напоминавший средь волжских степей.
Кончивший дни свои глухо в опале,
как Велизарий или Помпей.

Сколько он пролил крови солдатской
в землю чужую! Что ж, горевал?
Вспомнил ли их, умирающий в штатской
белой кровати? Полный провал.
Что он ответит, встретившись в адской
области с ними? "Я воевал".

К правому делу Жуков десницы
больше уже не приложит в бою.
Спи! У истории русской страницы
хватит для тех, кто в пехотном строю
смело входили в чужие столицы,
но возвращались в страхе в свою.

Маршал! поглотит алчная Лета
эти слова и твои прахоря.
Все же, прими их - жалкая лепта
родину спасшему, вслух говоря.
Бей, барабан, и военная флейта,
громко свисти на манер снегиря.

НАТЮРМОРТ

Verra la morte e avra i tuoi occhi.
C. Pavese

«Придет смерть, и у нее
будут твои глаза»

Ч. Павезе

1

Вещи и люди нас
окружают. И те,
и эти терзают глаз.
Лучше жить в темноте.

Я сижу на скамье
в парке, глядя вослед
проходящей семье.
Мне опротивел свет.

Это январь. Зима
Согласно календарю.
Когда опротивеет тьма.
тогда я заговорю.

2

Пора. Я готов начать.
Неважно, с чего. Открыть
рот. Я могу молчать.
Но лучше мне говорить.

О чем? О днях. о ночах.
Или же - ничего.
Или же о вещах.
О вещах, а не о

людях. Они умрут.
Все. Я тоже умру.
Это бесплодный труд.
Как писать на ветру.

3

Кровь моя холодна.
Холод ее лютей
реки, промерзшей до дна.
Я не люблю людей.

Внешность их не по мне.
Лицами их привит

к жизни какой-то не-
покидаемый вид.

Что-то в их лицах есть,
что противно уму.
Что выражает лесть
неизвестно кому.

4

Вещи приятней. В них
нет ни зла, ни добра
внешне. А если вник
в них - и внутри нутра.

Внутри у предметов - пыль.
Прах. Древоточец-жук.
Стенки. Сухой мотыль.
Неудобно для рук.

Пыль. И включенный свет
только пыль озарит.
Даже если предмет
герметично закрыт.

5

Старый буфет извне
так же, как изнутри,
напоминает мне
Нотр-Дам де Пари.

В недрах буфета тьма.
Швабра, епитрахиль
пыль не сотрут. Сама
вещь, как правило, пыль

не тщится перебороть,
не напрягает бровь.
Ибо пыль - это плоть
времени; плоть и кровь.

6

Последнее время я

сплю среди бела дня.
Видимо, смерть моя
испытывает меня,

поднося, хоть дышу,
эеркало мне ко рту,-
как я переношу
небытие на свету.

Я неподвижен. Два
бедра холодны, как лед.
Венозная синева
мрамором отдает.

7

Преподнося сюрприз
суммой своих углов
вещь выпадает из
миропорядка слов.

Вещь не стоит. И не
движется. Это - бред.
Вещь есть пространство, вне
коего вещи нет.

Вещь можно грохнуть, сжечь,
распотрошить, сломать.
Бросить. При этом вещь
не крикнет: «Ебёна мать!»

8

Дерево. Тень. Земля
под деревом для корней.
Корявые вензеля.
Глина. Гряда камней.

Корни. Их переплет.
Камень, чей личный груз
освобождает от
данной системы уз.

Он неподвижен. Ни
сдвинуть, ни унести.

Тень. Человек в тени,
словно рыба в сети.

9

Вещь. Коричневый цвет
вещи. Чей контур стерт.
Сумерки. Больше нет
ничего. Натюрморт.

Смерть придет и найдет
тело, чья гладь визит
смерти, точно приход
женщины, отразит.

Это абсурд, вранье:
череп, скелет, коса.
«Смерть придет, у нее
будут твои глаза».

10

Мать говорит Христу:
- Ты мой сын или мой
Бог? Ты прибит к кресту.
Как я пойду домой?

Как ступлю на порог,
не поняв, не решив:
ты мой сын или Бог?
То есть, мертв или жив?

Он говорит в ответ:
- Мертвый или живой,
разницы, жено, нет.
Сын или Бог, я твой.

Не выходи из комнаты, не совершай ошибку

Не выходи из комнаты, не совершай ошибку.
Зачем тебе Солнце, если ты куришь Шипку?
За дверью бессмысленно все, особенно - возглас счастья.
Только в уборную - и сразу же возвращайся.

О, не выходи из комнаты, не вызывай мотора.
Потому что пространство сделано из коридора
и кончается счетчиком. А если войдет живая
милка, пасть разевая, выгони не раздевая.

Не выходи из комнаты; считай, что тебя продуло.
Что интересней на свете стены и стула?
Зачем выходить оттуда, куда вернешься вечером
таким же, каким ты был, тем более - изувеченным?

О, не выходи из комнаты. Танцуй, поймав, боссанову
в пальто на голое тело, в туфлях на босу ногу.
В прихожей пахнет капустой и мазью лыжной.
Ты написал много букв; еще одна будет лишней.

Не выходи из комнаты. О, пускай только комната
догадывается, как ты выглядишь. И вообще инкогнито
эрго сум, как заметила форме в сердцах субстанция.
Не выходи из комнаты! На улице, чай, не Франция.

Не будь дураком! Будь тем, чем другие не были.
Не выходи из комнаты! То есть дай волю мебели,
слейся лицом с обоями. Запрись и забаррикадируйся
шкафом от хроноса, космоса, эроса, расы, вируса.

Ни страны, ни погоста

Ни страны, ни погоста
не хочу выбирать.
На Васильевский остров
я приду умирать.
Твой фасад темно-синий
я впотьмах не найду.
между выцветших линий
на асфальт упаду.

И душа, неустанно
поспешая во тьму,
промелькнет над мостами
в петроградском дыму,
и апрельская морось,
над затылком снежок,
и услышу я голос:
- До свиданья, дружок.

И увижу две жизни
далеко за рекой,
к равнодушной отчизне
прижимаясь щекой.
- словно девочки-сестры
из непрожитых лет,
выбегая на остров,
машут мальчику вслед.

Ниоткуда с любовью

Ниоткуда с любовью, надцатого мартобря,
дорогой, уважаемый, милая, но не важно
даже кто, ибо черт лица, говоря
откровенно, не вспомнить уже, не ваш, но
и ничей верный друг вас приветствует с одного
из пяти континентов, держащегося на ковбоях.
Я любил тебя больше, чем ангелов и самого,
и поэтому дальше теперь
от тебя, чем от них обоих.
Далеко, поздно ночью, в долине, на самом дне,
в городке, занесенном снегом по ручку двери,
извиваясь ночью на простыне,
как не сказано ниже, по крайней мере,
я взбиваю подушку мычащим "ты",
за горами, которым конца и края,
в темноте всем телом твои черты
как безумное зеркало повторяя.

НОВАЯ АНГЛИЯ

Хотя не имеет смысла, деревья еще растут.
Их можно увидеть в окне, но лучше издалека.
И воздух почти скандал, ибо так раздут,
что нетрудно принять Боинг за мотылька.

Мы только живем не там, где родились - а так
все остальное на месте и лишено судьбы,
и если свести с ума требуется пустяк,
то начеку ольха, вязы или дубы.

Чем мускулистей корни, тем осенью больше бздо,
если ты просто лист. Если ты, впрочем, он,

можно пылать и ночью, включив гнездо,
чтоб, не будя, пересчитать ворон.

Когда-нибудь всем, что видишь, растопят печь,
сделают карандаш или, Бог даст, кровать.
Но землю, в которую тоже придется лечь,
тем более - одному, можно не целовать.

Одиночество

Когда теряет равновесие
твоё сознание усталое,
когда ступеньки этой лестницы
уходят из под ног,
как палуба,
когда плюёт на человечество
твоё ночное одиночество, -
ты можешь
размышлять о вечности
и сомневаться в непорочности
идей, гипотез, восприятия
произведения искусства,
и - кстати - самого зачатия
Мадонной сына Иисуса.
Но лучше поклоняться данности
с глубокими её могилами,
которые потом,
за давностью,
покажутся такими милыми.

Да.
Лучше поклоняться данности
с короткими её дорогами,
которые потом
до странности
покажутся тебе
широкими,
покажутся большими,
пыльными,

усеянными компромиссами,
покажутся большими крыльями,
покажутся большими птицами.

Да. Лучше поклонятся данности
с убогими её мерилами,
которые потом до крайности,
послужат для тебя перилами
(хотя и не особо чистыми),
удерживающими в равновесии
твои хромающие истины
на этой выщербленной лестнице.

ОСВОЕНИЕ КОСМОСА

Чердачное окно отворено.
Я выглянул в чердачное окно.
Мне подоконник врезался в живот.
Под облаками кувыркался голубь.
Над облаками синий небосвод
не потолок напоминал, а прорубь.

Светило солнце. Пахло резедой.
Наш флюгер верещал, как козодой.
Дом тень свою отбрасывал. Забор
не тень свою отбрасывал, а зебру,
что несколько уродовало двор.
Поодаль гумна оседали в землю.

Сосед-петух над клушей мельтешил.
А наш петух тоску свою глушил,
такое видя, в сильных кукареках.
Я сухо этой драмой пренебрег,
включил приемник "Родина" и лег.
И этот Вавилон на батарейках

донес, что в космос взвился человек.
А я лежал, не поднимая век,
и размышлял о мире многоликом.
Я рассуждал: зевай иль примечай,
но все равно о малом и великом
мы, если узнаём, то невзначай.

Осенний вечер в скромном городке

Осенний вечер в скромном городке,
Гордящемся присутствием на карте
(топограф был, наверное, в азарте
иль с дочкою судьи накоротке).

Уставшее от собственных причуд,
Пространство как бы скидывает бремя
величья, ограничиваясь тут
чертами Главной улицы; а Время
взирает с неким холодом в кости
на циферблат колониальной лавки,
в чьих недрах все, что мог произвести
наш мир: от телескопа до булавки.

Здесь есть кино, салуны, за углом
одно кафе с опущенною шторой,
кирпичный банк с распластанным орлом
и церковь, о наличии которой
и ею расставляемых сетей,
когда б не рядом с почтой, позабыли.
И если б здесь не делали детей,
то пастор бы крестил автомобили.

Здесь буйствуют кузнечики в тиши.
В шесть вечера, как вследствии атомной
войны, уже не встретишь ни души.
Луна вплывает, вписываясь в темный
квадрат окна, что твой Экклезиаст.
Лишь изредка несущийся куда-то
шикарный бьюик фарами обдаст
фигуру Неизвестного Солдата.

Здесь снится вам не женщина в трико,
а собственный ваш адрес на конверте.
Здесь утром, видя скисшим молоко,
молочник узнает о вашей смерти.
Здесь можно жить, забыв про календарь,
глотать свой бром, не выходить наружу

и в зеркало глядеться, как фонарь
глядится в высыхающую лужу.

ОСТАНОВКА В ПУСТЫНЕ

Теперь так мало греков в Ленинграде,
что мы сломали Греческую церковь,
дабы построить на свободном месте
концертный зал. В такой архитектуре
есть что-то безнадежное. А впрочем,
концертный зал на тыщу с лишним мест
не так уж безнадежен: это - храм,
и храм искусства. Кто же виноват,
что мастерство вокальное дает
сбор больший, чем знамена веры?
Жаль только, что теперь издалека
мы будем видеть не нормальный купол,
а безобразно плоскую черту.
Но что до безобразия пропорций,
то человек зависит не от них,
а чаще от пропорций безобразья.

Прекрасно помню, как ее ломали.
Была весна, и я как раз тогда
ходил в одно татарское семейство,
неподалеку жившее. Смотрел
в окно и видел Греческую церковь.
Все началось с татарских разговоров;
а после в разговор вмешались звуки,
сливавшиеся с речью поначалу,
но вскоре - заглушившие ее.
В церковный садик въехал экскаватор
с подвешенной к стреле чугунной гирей.
И стены стали тихо поддаваться.
Смешно не поддаваться, если ты
стена, а пред тобою - разрушитель.

К тому же экскаватор мог считать
ее предметом неодушевленным
и, до известной степени, подобным
себе. А в неодушевленном мире
не принято давать друг другу сдачи.
Потом туда согнали самосвалы,
бульдозеры... И как-то в поздний час

сидел я на развалинах абсиды.
В провалах алтаря зияла ночь.
И я - сквозь эти дыры в алтаре -
смотрел на убегавшие трамваи,
на вереницу тусклых фонарей.
И то, чего вообще не встретишь в церкви,
теперь я видел через призму церкви.

Когда-нибудь, когда не станет нас,
точнее - после нас, на нашем месте
возникнет тоже что-нибудь такое,
чему любой, кто знал нас, ужаснется.
Но знавших нас не будет слишком много.
Вот так, по старой памяти, собаки
на прежнем месте задирают лапу.
Ограда снесена давным-давно,
но им, должно быть, грезится ограда.
Их грезы перечеркивают явь.
А может быть, земля хранит тот запах:
асфальту не осилить запах псины.
И что им этот безобразный дом!
Для них тут садик, говорят вам - садик.
А то, что очевидно для людей,
собакам совершенно безразлично.
Вот это и зовут: "собачья верность".
И если довелось мне говорить
всерьез об эстафете поколений,
то верю только в эту эстафету.
Вернее, в тех, кто ощущает запах.

Так мало нынче в Ленинграде греков,
да и вообще - вне Греции - их мало.
По крайней мере, мало для того,
чтоб сохранить сооруженья веры.
А верить в то, что мы сооружаем,
от них никто не требует. Одно,
должно быть, дело нацию крестить,
а крест нести - уже совсем другое.
У них одна обязанность была.
Они ее исполнить не сумели.
Непаханое поле заросло.
"Ты, сеятель, храни свою соху,
а мы решим, когда нам колоситься".
Они свою соху не сохранили.

Сегодня ночью я смотрю в окно
и думаю о том, куда зашли мы?
И от чего мы больше далеки:
от православья или эллинизма?
К чему близки мы? Что там, впереди?
Не ждет ли нас теперь другая эра?
И если так, то в чем наш общий долг?
И что должны мы принести ей в жертву?

"Мои мечты и чувства в сотый раз

Идут к тебе дорогой пилигримов"
В. Шекспир

Мимо ристалищ, капищ,
мимо храмов и баров,
мимо шикарных кладбищ,
мимо больших базаров,
мира и горя мимо,
мимо Мекки и Рима,
синим солнцем палимы,
идут по земле пилигримы.
Увечны они, горбаты,
голодны, полуодеты,
глаза их полны заката,
сердца их полны рассвета.
За ними поют пустыни,
вспыхивают зарницы,
звезды горят над ними,
и хрипло кричат им птицы:
что мир останется прежним,
да, останется прежним,
ослепительно снежным,
и сомнительно нежным,
мир останется лживым,
мир останется вечным,
может быть, постижимым,
но все-таки бесконечным.
И, значит, не будет толка
от веры в себя да в Бога.
...И, значит, остались только
иллюзия и дорога.
И быть над землей закатам,
и быть над землей рассветам.

Удобрить ее солдатам.
Одобрить ее поэтам.

«Письма римскому другу»

(Из Марциала)

*

Нынче ветрено и волны с перехлёстом.
Скоро осень, всё изменится в округе.
Смена красок этих трогательней, Постум,
чем наряда перемены у подруги.

Дева тешит до известного предела –
дальше локтя не пойдёшь или колена.
Сколь же радостней прекрасное вне тела:
ни объятье невозможно, ни измена!

*

Посылаю тебе, Постум, эти книги
Что в столице? Мягко стелют? Спать не жёстко?
Как там Цезарь? Чем он занят? Всё интриги?
Всё интриги, вероятно, да обжорство.

Я сижу в своем саду, горит светильник.
Ни подруги, ни прислуги, ни знакомых.
Вместо слабых мира этого и сильных –
лишь согласное гуденье насекомых.

*

Здесь лежит купец из Азии. Толковым
был купцом он – деловит, но незаметен.
Умер быстро: лихорадка. По торговым
он делам сюда приплыл, а не за этим.

Рядом с ним – легионер, под грубым кварцем.
Он в сражениях Империю прославил.
Столько раз могли убить! а умер старцем.
Даже здесь не существует, Постум, правил.

*

Пусть и вправду, Постум, курица не птица,
но с куриными мозгами хватишь горя.
Если выпало в Империи родиться,
лучше жить в глухой провинции у моря.

И от Цезаря далёко, и от вьюги.
Лебезить не нужно, трусить, торопиться.
Говоришь, что все наместники – ворюги?
Но ворюга мне милей, чем кровопийца.

*

Этот ливень переждать с тобой, гетера,
я согласен, но давай-ка без торговли:
брать сестерций с покрывающего тела
все равно, что дранку требовать у кровли.

Протекаю, говоришь? Но где же лужа?
Чтобы лужу оставлял я, не бывало.
Вот найдёшь себе какого-нибудь мужа,
он и будет протекать на покрывало.

*

Вот и прожили мы больше половины.
Как сказал мне старый раб перед таверной:
«Мы, оглядываясь, видим лишь руины».
Взгляд, конечно, очень варварский, но верный.

Был в горах. Сейчас вожусь с большим букетом.
Разыщу большой кувшин, воды налью им...
Как там в Ливии, мой Постум, – или где там?
Неужели до сих пор ещё воюем?

*

Помнишь, Постум, у наместника сестрица?
Худощавая, но с полными ногами.
Ты с ней спал ещё... Недавно стала жрица.
Жрица, Постум, и общается с богами.

Приезжай, попьем вина, закусим хлебом.
Или сливами. Расскажешь мне известья.
Постелю тебе в саду под чистым небом

и скажу, как называются созвездья.

*

Скоро, Постум, друг твой, любящий сложенье,
долг свой давний вычитанию заплатит.
Забери из-под подушки сбереженья,
там немного, но на похороны хватит.

Поезжай на вороной своей кобыле
в дом гетер под городскую нашу стену.
Дай им цену, за которую любили,
чтоб за ту же и оплакивали цену.

*

Зелень лавра, доходящая до дрожи.
Дверь распахнутая, пыльное оконце.
Стул покинутый, оставленное ложе.
Ткань, впитавшая полуденное солнце.

Понт шумит за чёрной изгородью пиний.
Чьё-то судно с ветром борется у мыса.
На рассохшейся скамейке – Старший Плиний.
Дрозд щебечет в шевелюре кипариса.

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ РОМАНС

Евгению Рейну, с любовью

Плывет в тоске необъяснимой
среди кирпичного надсада
ночной кораблик негасимый
из Александровского сада,
ночной фонарик нелюдимый,
на розу желтую похожий,
над головой своих любимых,
у ног прохожих.

Плывет в тоске необъяснимой
пчелиный ход сомнамбул, пьяниц.
В ночной столице фотоснимок
печально сделал иностранец,
и выезжает на Ордынку
такси с больными седоками,

и мертвецы стоят в обнимку
с особняками.

Плывет в тоске необьяснимой
певец печальный по столице,
стоит у лавки керосинной
печальный дворник круглолицый,
спешит по улице невзрачной
любовник старый и красивый.
Полночный поезд новобрачный
плывет в тоске необьяснимой.

Плывет во мгле замоскворецкой,
плывет в несчастие случайный,
блуждает выговор еврейский
на желтой лестнице печальной,
и от любви до невеселья
под Новый год, под воскресенье,
плывет красотка записная,
своей тоски не обьясняя.

Плывет в глазах холодный вечер,
дрожат снежинки на вагоне,
морозный ветер, бледный ветер
обтянет красные ладони,
и льется мед огней вечерних
и пахнет сладкою халвою,
ночной пирог
несет сочельник
над головою.

Твой Новый год по темно-синей
волне средь моря городского
плывет в тоске необьяснимой,
как будто жизнь начнется снова,
как будто будет свет и слава,
удачный день и вдоволь хлеба,
как будто жизнь качнется вправо,
качнувшись влево.

С точки зрения воздуха

С точки зрения воздуха, край земли
всюду. Что, скашивая облака,
совпадает - чем бы не замели
следы - с ощущением каблука.

Да и глаз, который глядит окрест,
скашивает, что твой серп, поля;
сумма мелких слагаемых при перемене мест
неузнаваемее нуля.
И улыбка скользнет, точно тень грача
по щербатой изгороди, пышный куст
шиповника сдерживая, но крича
жимолостью, не разжимая уст.

Сначала в бездну

Сначала в бездну свалился стул,
потом - упала кровать,
потом - мой стол. Я его столкнул
сам. Не хочу скрывать.
Потом - учебник "Родная речь",
фото, где вся моя семья.
Потом четыре стены и печь.
Остались пальто и я.
Прощай, дорогая. Сними кольцо,
выпиши вестник мод.
И можешь плюнуть тому в лицо,
кто место мое займет.

Сумев отгородиться от людей

Сумев отгородиться от людей,
я от себя хочу отгородиться.
Не изгородь из тесаных жердей,
а зеркало тут больше пригодится.
Я созерцаю хмурые черты,
щетину, бугорки на подбородке...

Трельяж для разводящейся четы,
пожалуй, лучший вид перегородки.
В него влезают сумерки в окне,
край пахоты с огромными скворцами
и озеро - как брешь в стене,
увенчанной еловыми зубцами.

Того гляди, что из озерных дыр
да и вообще - через любую лужу
сюда полезет посторонний мир.
Иль этот уползет наружу.

Сумерки.

Сумерки. Снег. Тишина. Весьма
тихо. Аполлон вернулся на Демос.
Сумерки, снег, наконец, сама
тишина - избавит меня, надеюсь,
от необходимости - прости за дерзость -
объяснять самый факт письма.

Праздники кончились - я не дам
соврать своим рифмам. Остатки влаги
замерзают. Небо белей бумаги
розовеет на западе, словно там
складывают смятые флаги,
разбирают лозунги по складам.

Эти строчки, в твои персты
попав (когда все в них уразумеешь
ты), побелеют, поскольку ты
на слово и на глаз не веришь.
И ты настолько порозовеешь,
насколько побелеют листы.

В общем, в словах моих новизны
хватит, чтоб не скучать сороке.
Пестроту июля, зелень весны
осень превращает в черные строки,
и зима читает ее упреки
и зачитывает до белизны.

Вот и метель, как в лесу игла,
гудит. От Бога и до порога
бело. Ни запятой, ни слога.
И это значит: ты все прочла.
Стряхивать хлопья опасно, строго
говоря, с твоего чела.

Нету - письма. Только крик сорок,
не понимающих дела почты.
Но белизна вообще залог
того, что под ней хоронится то, что
превратится впоследствии в почки, в точки,
в буйство зелени, в буквы строк.

Пусть не бессмертие - перегной
вберет меня. Разница только в поле
сих существительных. В нем тем боле
нет преимущества передо мной.
Радуюсь, встретив сороку в поле,
как завидевший берег Ной.

Так утешает язык певца,
превосходя самоё природу,
свои окончания без конца
по падежу, по числу, по роду
меняя, Бог знает кому в угоду,
глядя в воду глазами пловца.

Теперь все чаще чувствую усталость

Теперь все чаще чувствую усталость,
все реже говорю о ней теперь,
о, помыслов души моей кустарность,
веселая и теплая артель.

Каких ты птиц себе изобретаешь,
кому их даришь или продаешь,
и в современных гнездах обитаешь,
и современным голосом поешь?

Вернись, душа, и перышко мне вынь!
Пускай о славе радио споет нам.
Скажи, душа, как выглядела жизнь,
как выглядела с птичьего полета?

Покуда снег, как из небытия,
кружит по незатейливым карнизам,
рисуй о смерти, улица моя,
а ты, о птица, вскрикивай о жизни.

Вот я иду, а где-то ты летишь,
уже не слыша сетований наших,
вот я живу, а где-то ты кричишь
и крыльями взволнованными машешь.

Теперь, зная многое

Теперь, зная многое о моей
жизни - о городах, о тюрьмах,
о комнатах, где я сходил с ума,
но не сошел, о морях, в которых
я захлебывался, и о тех, кого
я так-таки не удержал в объятьях, -
теперь ты мог бы сказать, вздохнув:
"Судьба к нему оказалась щедрой",
и присутствующие за столом
кивнут задумчиво в знак согласья.

Как знать, возможно, ты прав. Прибавь
к своим прочим достоинствам также и дальнозоркость.
В те годы, когда мы играли в чха
на панели возле кинотеатра,
кто мог подумать о расстоянии
больше зябнущей пятерни,
растопыренной между орлом и решкой?

Никто. Беспечный прощальный взмах
руки в конце улицы обернулся
первой черточкой радиуса: воздух в чужих краях
чаще чем что-либо напоминает ватман,
и дождь заштриховывает следы,
не тронутые голубой резинкой.

Как знать, может, как раз сейчас,
когда я пишу эти строки, сидя
в кирпичном маленьком городке
в центре Америки, ты бредешь
вдоль горчичного здания, в чьих отсыревших стенах
томится еще одно поколенье, пялясь
в серобуромалиновое пятно
нелегального полушарья.

Короче - худшего не произошло.
Худшее происходит только
в романах, и с теми, кто лучше нас
настолько, что их теряешь тотчас
из виду, и отзвуки их трагедий
смешиваются с пеньем веретена,
как гуденье далекого аэроплана
с жужжаньем буксующей в лепестках пчелы.

Мы уже не увидимся - потому

что физически сильно переменились.
Встреться мы, встретились бы не мы,
но то, что сделали с нашим мясом
годы, щадящие только кость,
и собаке с кормилицей не узнать
по запаху или рубцу пришельца.

Щедрость, ты говоришь? О да,
щедрость волны океана к щепке.
Что ж, кто не жалуется на судьбу,
тот ее не достоин. Но если время
узнаёт об итоге своих трудов
по расплывчатости воспоминаний
то - думаю - и твое лицо
вполне способно собой украсить
бронзовый памятник или - на дне кармана -
еще не потраченную копейку.

Тихотворение

Тихотворение мое, мое немое,
однако, тяглое - на страх поводьям,
куда пожалуемся на ярмо и
кому поведаем, как жизнь проводим?
Как поздно заполночь ища глазунию
луны за шторою зажженной спичкою,
вручную стряхиваешь пыль безумия
с осколков желтого оскала в писчую.
Как эту борзопись, что гуще патоки,
там не размазывай, но с кем в колене и
в локте хотя бы преломить, опять-таки,
ломоть отрезанный, тихотворение?

Только пепел знает, что значит сгореть дотла.

Только пепел знает, что значит сгореть дотла.
Но я тоже скажу, близоруко взглянув вперед:
не все уносимо ветром, не все метла,
широко забирая по двору, подберет.
Мы останемся смятым окурком, плевком, в тени
под скамьей, куда угол проникнуть лучу не даст.
И слежимся в обнимку с грязью, считая дни,
в перегной, в осадок, в культурный пласт.
Замаравши совок, археолог разинет пасть

отрыгнуть; но его открытие прогремит
на весь мир, как зарытая в землю страсть,
как обратная версия пирамид.
"Падаль!" выдохнет он, обхватив живот,
но окажется дальше от нас, чем земля от птиц,
потому что падаль - свобода от клеток, свобода от
целого: апофеоз частиц.

Узнаю этот ветер

Узнаю этот ветер, налетающий на траву,
под него ложащуюся, точно под татарву.
Узнаю этот лист, в придорожную грязь
падающий, как обагренный князь.
Растекаясь широкой стрелой по косой скуле
деревянного дома в чужой земле,
что гуся по полету, осень в стекле внизу
узнает по лицу слезу.
И, глаза закатывая к потолку,
я не слово о номер забыл говорю полку,
но кайсацкое имя язык во рту
шевелит в ночи, как ярлык в Орду.

Откуда ни возьмись -

Откуда ни возьмись -
как резкий взмах -
Божественная высь
в твоих словах -
как отповедь, верней,
как зов: "за мной!" -
над нежностью моей,
моей, земной.
Куда же мне? На звук!
За речь. За взгляд.
За жизнь. За пальцы рук.
За рай. За ад.
И, тень свою губя
(не так ли?), хоть
за самого себя.
Верней, за плоть.
За сдержанность, запал,
всю боль - верней,
всю лестницу из шпал,

стремянку дней
восставив - поднимусь!
(Не тело - пуст!)
Как эхо, я коснусь
и стоп, и уст.
Звучи же! Меж ветвей,
в глуши, в лесу,
здесь, в памяти твоей,
в любви, внизу
постичь - на самом дне!
не по плечу:
нисходишь ли ко мне,
иль я лечу.

ЭЛЕГИЯ

Однажды этот южный городок
был местом моего свиданья с другом;
мы оба были молоды и встречу
назначили друг другу на молу,
сооруженном в древности; из книг
мы знали о его существованьи.
Немало волн разбилось с той поры.
Мой друг на суше захлебнулся мелкой,
но горькой ложью собственной; а я
пустился в странствия.
И вот я снова
стою здесь нынче вечером. Никто
меня не встретил. Да и самому
мне некому сказать уже: приди
туда-то и тогда-то.
Вопли чаек.
Плеск разбивающихся волн.
Маяк, чья башня привлекает взор
скорей фотографа, чем морехода.
На древнем камне я стою один,
печаль моя не оскверняет древность -
усугубляет. Видимо, земля
воистину кругла, раз ты приходишь
туда, где нету ничего, помимо
воспоминаний.

Я был только тем…

М. Б.

Я был только тем, чего
ты касалась ладонью,
над чем в глухую, воронью
ночь склоняла чело.

Я был лишь тем, что ты
там, снизу, различала:
смутный облик сначала,
много позже - черты.

Это ты, горяча,
ошую, одесную
раковину ушную
мне творила, шепча.

Это ты, теребя
штору, в сырую полость
рта вложила мне голос,
окликавший тебя.

Я был попросту слеп.
Ты, возникая, прячась,
даровала мне зрячесть.
Так оставляют след.

Так творятся миры.
Так, сотворив их, часто
оставляют вращаться,
расточая дары.

Так, бросаем то в жар,
то в холод, то в свет, то в темень,
в мирозданьи потерян,
кружится шар.

Л. В. Лифшицу

Я всегда твердил, что судьба - игра.
Что зачем нам рыба, раз есть икра.
Что готический стиль победит, как школа,
как способность торчать, избежав укола.

Я сижу у окна. За окном осина.
Я любил немногих. Однако - сильно.

Я считал, что лес - только часть полена.
Что зачем вся дева, раз есть колено.
Что, устав от поднятой веком пыли,
русский глаз отдохнет на эстонском шпиле.
Я сижу у окна. Я помыл посуду.
Я был счастлив здесь, и уже не буду.

Я писал, что в лампочке - ужас пола.
Что любовь, как акт, лишена глагола.
Что не знал Эвклид, что, сходя на конус,
вещь обретает не ноль, но Хронос.
Я сижу у окна. Вспоминаю юность.
Улыбнусь порою, порой отплюнусь.

Я сказал, что лист разрушает почку.
И что семя, упавши в дурную почву,
не дает побега; что луг с поляной
есть пример рукоблудья, в Природе данный.
Я сижу у окна, обхватив колени,
в обществе собственной грузной тени.

Моя песня была лишена мотива,
но зато ее хором не спеть. Не диво,
что в награду мне за такие речи
своих ног никто не кладет на плечи.
Я сижу у окна в темноте; как скорый,
море гремит за волнистой шторой.

Гражданин второсортной эпохи, гордо
признаю я товаром второго сорта
свои лучшие мысли и дням грядущим
я дарю их как опыт борьбы с удушьем.
Я сижу в темноте. И она не хуже
в комнате, чем темнота снаружи.

Я входил вместо дикого зверя в клетку,

Я входил вместо дикого зверя в клетку,
выжигал свой срок и кликуху гвоздем в бараке,
жил у моря, играл в рулетку,
обедал черт знает с кем во фраке.

С высоты ледника я озирал полмира,
трижды тонул, дважды бывал распорот.
Бросил страну, что меня вскормила.
Из забывших меня можно составить город.
Я слонялся в степях, помнящих вопли гунна,
надевал на себя что сызнова входит в моду,
сеял рожь, покрывал черной толью гумна
и не пил только сухую воду.
Я впустил в свои сны вороненый зрачок конвоя,
жрал хлеб изгнанья, не оставляя корок.
Позволял своим связкам все звуки, помимо воя;
перешел на шепот. Теперь мне сорок.
Что сказать мне о жизни? Что оказалась длинной.
Только с горем я чувствую солидарность.
Но пока мне рот не забили глиной,
из него раздаваться будет лишь благодарность.

Я КАК УЛИС

Зима, зима, я еду по зиме,
куда-нибудь по видимой отчизне,
гони меня, ненастье, по земле,
хотя бы вспять, гони меня по жизни.

Ну, вот Москва и утренний уют
в арбатских переулках парусинных,
и чужаки по-прежнему снуют
в январских освещенных магазинах.

И желтизна разрозненных монет,
и цвет лица криптоновый все чаще,
гони меня, как новый Ганимед
хлебну земной изгнаннической чаши

и не пойму, откуда и куда
я двигаюсь, как много я теряю
во времени, в дороге повторяя:
ох, Боже мой, какая ерунда.

Ох, Боже мой, не многого прошу,
ох, Боже мой, богатый или нищий,
но с каждым днем я прожитым дышу
уверенней и сладостней и чище.

Мелькай, мелькай по сторонам, народ,

я двигаюсь, и, кажется отрадно,
что, как Улисс, гоню себя вперед,
но двигаюсь по-прежнему обратно.

Так человека встречного лови
и все тверди в искусственном порыве:
от нынешней до будущей любви
живи добрей, страдай неприхотливей.

Я не то что схожу с ума, но устал за лето.

Я не то что схожу с ума, но устал за лето.
За рубашкой в комод полезешь, и день потерян.
Поскорей бы, что ли, пришла зима и занесла всё это -
города, человеков, но для начала зелень.
Стану спать не раздевшись или читать с любого
места чужую книгу, покамест остатки года,
переходят в положенном месте асфальт.
Свобода -
это когда забываешь отчество у тирана,
а слюна во рту слаще халвы Шираза,
и, хотя твой мозг перекручен, как рог барана,
ничего не каплет из голубого глаза.

Я обнял эти плечи и взглянул

М. Б.

Я обнял эти плечи и взглянул
на то, что оказалось за спиною,
и увидал, что выдвинутый стул
сливался с освещенною стеною.
Был в лампочке повышенный накал,
невыгодный для мебели истертой,
и потому диван в углу сверкал
коричневою кожей, словно желтой.
Стол пустовал. Поблескивал паркет.
Темнела печка. В раме запыленной
застыл пейзаж. И лишь один буфет
казался мне тогда одушевленным.

Но мотылек по комнате кружил,
и он мой взгляд с недвижимости сдвинул.

И если призрак здесь когда-то жил,
то он покинул этот дом. Покинул.

Aere perennius *

Приключилась на твердую вещь напасть:
будто лишних дней циферблата пасть
отрыгнула назад, до бровей сыта
крупным будущим чтобы считать до ста.
И вокруг твердой вещи чужие ей
встали кодлом, базаря "Ржавей живей"
и "Даешь песок, чтобы в гроб хромать,
если ты из кости или камня, мать".
Отвечала вещь, на слова скупа:
"Не замай меня, лишних дней толпа!
Гнуть свинцовый дрын или кровли жесть -
не рукой под черную юбку лезть.
А тот камень-кость, гвоздь моей красы -
он скучает по вам с мезозоя, псы:
от него в веках борозда длинней,
чем у вас с вечной жизнью с кадилом в ней".

_____
* Долговечнее меди (лат.)